# Александр Куприн

# Поединок

## II

Солдаты разошлись повзводно на квартиры. Плац опустел. Ромашов некоторое время стоял в нерешимости на шоссе. Уже не в первый раз за полтора года своей офицерской службы испытывал он это мучительное сознание своего одиночества и затерянности среди чужих, недоброжелательных или равнодушных людей, — это тоскливое чувство незнания, куда девать сегодняшний вечер. Мысли о своей квартире, об офицерском собрании были ему противны. В собрании теперь пустота; наверно, два подпрапорщика играют на скверном, маленьком бильярде, пьют пиво, курят и над каждым шаром ожесточенно божатся и сквернословят; в комнатах стоит застарелый запах плохого кухмистерского обеда — скучно!..

«Пойду на вокзал, — сказал сам себе Ромашов. — Все равно».

В бедном еврейском местечке не было ни одного ресторана. Клубы, как военный, так и гражданский, находились в самом жалком, запущенном виде, и поэтому вокзал служил единственным местом, куда обыватели ездили частенько покутить и встряхнуться и даже поиграть в карты. Ездили туда и дамы к приходу пассажирских поездов, что служило маленьким разнообразием в глубокой скуке провинциальной жизни.

Ромашов любил ходить на вокзал по вечерам, к курьерскому поезду, который останавливался здесь в последний раз перед прусской границей. Со странным очарованием, взволнованно следил он, как к станции, стремительно выскочив из-за поворота, подлетал на всех парах этот поезд, состоявший всего из пяти новеньких, блестящих вагонов, как быстро росли и разгорались его огненные глаза, бросавшие вперед себя на рельсы светлые пятна, и как он, уже готовый проскочить станцию, мгновенно, с шипением и грохотом, останавливался — «точно великан, ухватившийся с разбега за скалу», — думал Ромашов. Из вагонов, сияющих насквозь веселыми праздничными огнями, выходили красивые, нарядные и выхоленные дамы в удивительных шляпах, в необыкновенно изящных костюмах, выходили штатские господа, прекрасно одетые, беззаботно самоуверенные, с громкими барскими голосами, с французским и немецким языком, с свободными жестами, с ленивым смехом. Никто из них никогда, даже мельком, не обращал внимания на Ромашова, но он видел в них кусочек какого-то недоступного, изысканного, великолепного мира, где жизнь — вечный праздник и торжество…

Проходило восемь минут. Звенел звонок, свистел паровоз, и сияющий поезд отходил от станции. Торопливо тушились огни на перроне и в буфете. Сразу наступали темные будни. И Ромашов всегда подолгу с тихой, мечтательной грустью следил за красным фонариком, который плавно раскачивался сзади последнего вагона, уходя во мрак ночи и становясь едва заметной искоркой.

«Пойду на вокзал», — подумал Ромашов. Но тотчас же он поглядел на свои калоши и покраснел от колючего стыда. Это были тяжелые резиновые калоши в полторы четверти глубиной, облепленные доверху густой, как тесто, черной грязью. Такие калоши носили все офицеры в полку. Потом он посмотрел на свою шинель, обрезанную, тоже ради грязи, по колени, с висящей внизу бахромой, с засаленными и растянутыми петлями, и вздохнул. На прошлой неделе, когда он проходил по платформе мимо того же курьерского поезда, он заметил высокую, стройную, очень красивую даму в черном платье, стоявшую в дверях вагона первого класса. Она была без шляпы, и Ромашов быстро, но отчетливо успел разглядеть ее тонкий, правильный нос, прелестные маленькие и полные губы и блестящие черные волнистые волосы, которые от прямого пробора посредине головы спускались вниз к щекам, закрывая виски, концы бровей и уши. Сзади нее, выглядывая из-за ее плеча, стоял рослый молодой человек в светлой паре, с надменным лицом и с усами вверх, как у императора Вильгельма, даже похожий несколько на Вильгельма. Дама тоже посмотрела на Ромашова, и, как ему показалось, посмотрела пристально, со вниманием, и, проходя мимо нее, подпоручик подумал, по своему обыкновению: «Глаза прекрасной незнакомки с удовольствием остановились на стройной, худощавой фигуре молодого офицера». Но когда, пройдя десять шагов, Ромашов внезапно обернулся назад, чтобы еще раз встретить взгляд красивой дамы, он увидел, что и она и ее спутник с увлечением смеются, глядя ему вслед. Тогда Ромашов вдруг с поразительной ясностью и как будто со стороны представил себе самого себя, свои калоши, шинель, бледное лицо, близорукость, свою обычную растерянность и неловкость, вспомнил свою только что сейчас подуманную красивую фразу и покраснел мучительно, до острой боли, от нестерпимого стыда. И даже теперь, идя один в полутьме весеннего вечера, он опять еще раз покраснел от стыда за этот прошлый стыд.

— Нет, куда уж на вокзал, — прошептал с горькой безнадежностью Ромашов.

— Похожу немного, а потом домой…

Было начало апреля. Сумерки сгущались незаметно для глаза. Тополи, окаймлявшие шоссе, белые, низкие домики с черепичными крышами по сторонам дороги, фигуры редких прохожих — все почернело, утратило цвета и перспективу; все предметы обратились в черные плоские силуэты, но очертания их с прелестной четкостью стояли в смуглом воздухе. На западе за городом горела заря. Точно в жерло раскаленного, пылающего жидким золотом вулкана сваливались тяжелые сизые облака и рдели кроваво-красными, и янтарными, и фиолетовыми огнями. А над вулканом поднималось куполом вверх, зеленея бирюзой и аквамарином, кроткое вечернее весеннее небо.

Медленно идя по шоссе, с трудом волоча ноги в огромных калошах, Ромашов неотступно глядел на этот волшебный пожар. Как и всегда, с самого детства, ему чудилась за яркой вечерней зарей какая-то таинственная, светозарная жизнь. Точно там, далеко-далеко за облаками и за горизонтом, пылал под невидимым отсюда солнцем чудесный, ослепительно-прекрасный город, скрытый от глаз тучами, проникнутыми внутренним огнем. Там сверкали нестерпимым блеском мостовые из золотых плиток, возвышались причудливые купола и башни с пурпурными крышами, сверкали брильянты в окнах, трепетали в воздухе яркие разноцветные флаги. И чудилось, что в этом далеком и сказочном городе живут радостные, ликующие люди, вся жизнь которых похожа на сладкую музыку, у которых даже задумчивость, даже грусть — очаровательно нежны и прекрасны. Ходят они по сияющим площадям, по тенистым садам, между цветами и фонтанами, ходят, богоподобные, светлые, полные неописуемой радости, не знающие преград в счастии и желаниях, не омраченные ни скорбью, ни стыдом, ни заботой…

Неожиданно вспомнилась Ромашову недавняя сцена на плацу, грубые крики полкового командира, чувство пережитой обиды, чувство острой и в то же время мальчишеской неловкости перед солдатами. Всего больнее было для него то, что на него кричали совсем точно так же, как и он иногда кричал на этих молчаливых свидетелей его сегодняшнего позора, и в этом сознании было что-то уничтожавшее разницу положений, что-то принижавшее его офицерское и, как он думал, человеческое достоинство.

И в нем тотчас же, точно в мальчике, — в нем и в самом деле осталось еще много ребяческого, — закипели мстительные, фантастические, опьяняющие мечты. «Глупости! Вся жизнь передо мной! — думал Ромашов, и, в увлечении своими мыслями, он зашагал бодрее и задышал глубже. — Вот, назло им всем, завтра же с утра засяду за книги, подготовлюсь и поступлю в академию. Труд! О, трудом можно сделать все, что захочешь. Взять только себя в руки. Буду зубрить, как бешеный… И вот, неожиданно для всех, я выдерживаю блистательно экзамен. И тогда наверно все они скажут: „Что же тут такого удивительного? Мы были заранее в этом уверены. Такой способный, милый, талантливый молодой человек“».

И Ромашов поразительно живо увидел себя ученым офицером генерального штаба, подающим громадные надежды… Имя его записано в академии на золотую доску. Профессора сулят ему блестящую будущность, предлагают остаться при академии, но — нет — он идет в строи. Надо отбывать срок командования ротой. Непременно, уж непременно в своем полку. Вот он приезжает сюда — изящный, снисходительно-небрежный, корректный и дерзко-вежливый, как те офицеры генерального штаба, которых он видел на прошлогодних больших маневрах и на съемках. От общества офицеров он сторонится. Грубые армейские привычки, фамильярность, карты, попойки — нет, это не для него: он помнит, что здесь только этап на пути его дальнейшей карьеры и славы.

Вот начались маневры. Большой двухсторонний бой. Полковник Шульгович не понимает диспозиции, путается, суетит людей и сам суетится, — ему уже делал два раза замечание через ординарцев командир корпуса. «Ну, капитан, выручайте, — обращается он к Ромашову. — Знаете, по старой дружбе. Помните, хе-хе-хе, как мы с вами ссорились! Уж, пожалуйста». Лицо сконфуженное и заискивающее. Но Ромашов, безукоризненно отдавая честь и подавшись вперед на седле, отвечает с спокойно-высокомерным видом: «Виноват, господин полковник… Это — ваша обязанность распоряжаться передвижениями полка. Мое дело — принимать приказания и исполнять их…» А уж от командира корпуса летит третий ординарец с новым выговором.

Блестящий офицер генерального штаба Ромашов идет все выше и выше по пути служебной карьеры… Вот вспыхнуло возмущение рабочих на большом сталелитейном заводе. Спешно вытребована рота Ромашова. Ночь, зарево пожара, огромная воющая толпа, летят камни… Стройный, красивый капитан выходит вперед роты. Это — Ромашов. «Братцы, — обращается он к рабочим, — в третий и последний раз предупреждаю, что буду стрелять!..» Крики, свист, хохот… Камень ударяет в плечо Ромашову, но его мужественное, открытое лицо остается спокойным. Он поворачивается назад, к солдатам, у которых глаза пылают гневом, потому что обидели их обожаемого начальника. «Прямо по толпе, пальба ротою… Рота-а, пли!..» Сто выстрелов сливаются в один… Рев ужаса. Десятки мертвых и раненых валятся в кучу… Остальные бегут в беспорядке, некоторые становятся на колени, умоляя о пощаде. Бунт усмирен. Ромашова ждет впереди благодарность начальства и награда за примерное мужество.

А там война… Нет, до войны лучше Ромашов поедет военным шпионом в Германию. Изучит немецкий язык до полного совершенства и поедет. Какая упоительная отвага! Один, совсем один, с немецким паспортом в кармане, с шарманкой за плечами. Обязательно с шарманкой. Ходит из города в город, вертит ручку шарманки, собирает пфенниги, притворяется дураком и в то же время потихоньку снимает планы укреплений, складов, казарм, лагерей. Кругом вечная опасность. Свое правительство отступилось от него, он вне законов. Удастся ему достать ценные сведения — у него деньги, чины, положение, известность, нет — его расстреляют без суда, без всяких формальностей, рано утром во рву какого-нибудь косого капонира. Вот ему сострадательно предлагают завязать глаза косынкой, но он с гордостью швыряет ее на землю. «Разве вы думаете, что настоящий офицер боится поглядеть в лицо смерти?» Старый полковник говорит участливо: «Послушайте, вы молоды, мой сын в таком же возрасте, как и вы. Назовите вашу фамилию, назовите только вашу национальность, и мы заменим вам смертную казнь заключением». Но Ромашов перебивает его с холодной вежливостью: «Это напрасно, полковник, благодарю вас. Делайте свое дело». Затем он обращается ко взводу стрелков. «Солдаты, — говорит он твердым голосом, конечно, по-немецки, — прошу вас о товарищеской услуге: цельтесь в сердце!» Чувствительный лейтенант, едва скрывая слезы, машет белым платком. Залп…

Эта картина вышла в воображении такой живой и яркой, что Ромашов, уже давно шагавший частыми, большими шагами и глубоко дышавший, вдруг задрожал и в ужасе остановился на месте со сжатыми судорожно кулаками и бьющимся сердцем. Но тотчас же, слабо и виновато улыбнувшись самому себе в темноте, он съежился и продолжал путь.

Но скоро быстрые, как поток, неодолимые мечты опять овладели им. Началась ожесточенная, кровопролитная война с Пруссией и Австрией. Огромное поле сражения, трупы, гранаты, кровь, смерть! Это генеральный бой, решающий всю судьбу кампании. Подходят последние резервы, ждут с минуты на минуту появления в тылу неприятеля обходной русской колонны. Надо выдержать ужасный натиск врага, надо отстояться во что бы то ни стало. И самый страшный огонь, самые яростные усилия неприятеля направлены на Керенский полк. Солдаты дерутся, как львы, они ни разу не поколебались, хотя ряды их с каждой секундой тают под градом вражеских выстрелов. Исторический момент! Продержаться бы еще минуту, две — и победа будет вырвана у противника. Но полковник Шульгович в смятении; он храбр — это бесспорно, но его нервы не выдерживают этого ужаса. Он закрывает глаза, содрогается, бледнеет… Вот он уже сделал знак горнисту играть отступление, вот уже солдат приложил рожок к губам, но в эту секунду из-за холма на взмыленной арабской лошади вылетает начальник дивизионного штаба, полковник Ромашов. «Полковник, не сметь отступать! Здесь решается судьба России!..» Шульгович вспыхивает: «Полковник! Здесь я командую, и я отвечаю перед богом и государем! Горнист, отбой!» Но Ромашов уже выхватил из рук трубача рожок. «Ребята, вперед! Царь и родина смотрят на вас! Ура!» Бешено, с потрясающим криком ринулись солдаты вперед, вслед за Ромашовым. Все смешалось, заволоклось дымом, покатилось куда-то в пропасть. Неприятельские ряды дрогнули и отступают в беспорядке. А сзади их, далеко за холмами, уже блестят штыки свежей, обходной колонны. «Ура, братцы, победа!..»

Ромашов, который теперь уже не шел, а бежал, оживленно размахивая руками, вдруг остановился и с трудом пришел в себя. По его спине, по рукам и ногам, под одеждой, по голому телу, казалось, бегали чьи-то холодные пальцы, волосы на голове шевелились, глаза резало от восторженных слез. Он и сам не заметил, как дошел до своего дома, и теперь, очнувшись от пылких грез, с удивлением глядел на хорошо знакомые ему ворота, на жидкий фруктовый сад за ними и на белый крошечный флигелек в глубине сада.

— Какие, однако, глупости лезут в башку! — прошептал он сконфуженно. И его голова робко ушла в приподнятые кверху плечи.

## VII

В половине четвертого к Ромашову заехал полковой адъютант, поручик Федоровский. Это был высокий и, как выражались полковые дамы, представительный молодой человек с холодными глазами и с усами, продолженными до плеч густыми подусниками. Он держал себя преувеличенно-вежливо, но строго-официально с младшими офицерами, ни с кем не дружил и был высокого мнения о своем служебном положении. Ротные командиры в нем заискивали.

Зайдя в комнату, он бегло окинул прищуренными глазами всю жалкую обстановку Ромашова. Подпоручик, который в это время лежал на кровати, быстро вскочил и, краснея, стал торопливо застегивать пуговицы тужурки.

— Я к вам по поручению командира полка, — сказал Федоровский сухим тоном, — потрудитесь одеться и ехать со мною.

— Виноват… я сейчас… форма одежды обыкновенная? Простите, я по-домашнему.

— Пожалуйста, не стесняйтесь. Сюртук. Если вы позволите, я бы присел?

— Ах, извините. Прошу вас. Не угодно ли чаю? — заторопился Ромашов.

— Нет, благодарю. Пожалуйста, поскорее.

Он, не снимая пальто и перчаток, сел на стул, и, пока Ромашов одевался, волнуясь, без надобности суетясь и конфузясь за свою не особенно чистую сорочку, он сидел все время прямо и неподвижно с каменным лицом, держа руки на эфесе шашки.

— Вы не знаете, зачем меня зовут?

Адъютант пожал плечами.

— Странный вопрос. Откуда же я могу знать? Вам это, должно быть, без сомнения, лучше моего известно… Готовы? Советую вам продеть портупею под погон, а не сверху. Вы знаете, как командир полка этого не любит. Вот так… Ну-с, поедемте.

У ворот стояла коляска, запряженная парою рослых, раскормленных полковых коней. Офицеры сели и поехали. Ромашов из вежливости старался держаться боком, чтобы не теснить адъютанта, а тот как будто вовсе не замечал этого. По дороге им встретился Веткин. Он обменялся с адъютантом честью, но тотчас же за спиной его сделал обернувшемуся Ромашову особый, непередаваемый юмористический жест, который как будто говорил: «Что, брат, поволокли тебя на расправу?» Встречались и еще офицеры. Иные из них внимательно, другие с удивлением, а некоторые точно с насмешкой глядели на Ромашова, и он невольно ежился под их взглядами.

Полковник Шульгович не сразу принял Ромашова: у него был кто-то в кабинете. Пришлось ждать в полутемной передней, где пахло яблоками, нафталином, свежелакированной мебелью и еще чем-то особенным, не неприятным, чем пахнут одежда и вещи в зажиточных, аккуратных немецких семействах. Топчась в передней, Ромашов несколько раз взглядывал на себя в стенное трюмо, оправленное в светлую ясеневую раму, и всякий раз его собственное лицо казалось ему противно-бледным, некрасивым и каким-то неестественным, сюртук — слишком заношенным, а погоны — чересчур помятыми.

Сначала из кабинета доносился только глухой однотонный звук низкого командирского баса. Слов не было слышно, но по сердитым раскатистым интонациям можно было догадаться, что полковник кого-то распекает с настойчивым и непреклонным гневом. Это продолжалось минут пять. Потом Шульгович вдруг замолчал; послышался чей-то дрожащий, умоляющий голос, и вдруг, после мгновенной паузы, Ромашов явственно, до последнего оттенка, услышал слова, произнесенные со страшным выражением высокомерия, негодования и презрения:

— Что вы мне очки втираете? Дети? Жена? Плевать я хочу на ваших детей! Прежде чем наделать детей, вы бы подумали, чем их кормить. Что? Ага, теперь — виноват, господин полковник. Господин полковник в вашем деле ничем не виноват. Вы, капитан, знаете, что если господин полковник теперь не отдает вас под суд, то я этим совершаю преступление по службе. Что-о-о? Извольте ма-алчать! Не ошибка-с, а преступление-с. Вам место не в полку, а вы сами знаете — где. Что?

Опять задребезжал робкий, молящий голос, такой жалкий, что в нем, казалось не было ничего человеческого. «Господи, что же это? — подумал Ромашов, который точно приклеился около трюмо, глядя прямо в свое побледневшее лицо и не видя его, чувствуя, как у него покатилось и болезненно затрепыхалось сердце. — Господи, какой ужас!..»

Жалобный голос говорил довольно долго. Когда он кончил, опять раскатился глубокий бас командира, но теперь более спокойный и смягченный, точно Шульгович уже успел вылить свой гнев в крике и удовлетворил свою жажду власти видом чужого унижения.

Он говорил отрывисто:

— Хорошо-с. В последний раз. Но пом-ни-те, это в последний раз. Слышите? Зарубите это на своем красном, пьяном носу. Если до меня еще раз дойдут слухи, что вы пьянствуете… Что? Ладно ладно, знаю я ваши обещания. Роту мне чтоб подготовили к смотру. Не рота, а б…..! Через неделю приеду сам и посмотрю… Ну, а затем вот вам мой совет-с: первым делом очиститесь вы с солдатскими деньгами и с отчетностью. Слышите? Это чтобы завтра же было сделано. Что? А мне что за дело?. Хоть родите… Затем, капитан, я вас не держу. Имею честь кланяться.

Кто-то нерешительно завозился в кабинете и на цыпочках, скрипя сапогами, пошел к выходу. Но его сейчас же остановил голос командира, ставший вдруг чересчур суровым, чтобы не быть поддельным:

— Постой-ка, поди сюда, чертова перечница… Небось побежишь к жидишкам? А? Векселя писать? Эх ты, дура, дура, дурья ты голова… Ну, уж на тебе, дьявол тебе в печень. Одна, две… раз, две, три, четыре… Триста. Больше не могу. Отдашь, когда сможешь. Фу, черт, что за гадость вы делаете, капитан! — заорал полковник, возвышая голос по восходящей гамме.

— Не смейте никогда этого делать! Это низость!.. Однако марш, марш, марш! К черту-с, к черту-с. Мое почте ни е-с!..

В переднюю вышел, весь красный, с каплями на носу и на висках и с перевернутым, смущенным лицом, маленький капитан Световидов. Правая рука была у него в кармане и судорожно хрустела новенькими бумажками. Увидев Ромашова, он засеменил ногами, шутовски-неестественно захихикал и крепко вцепился своей влажной, горячей, трясущейся рукой в руку подпоручика. Глаза у него напряженно и конфузливо бегали и в то же время точно щупали Ромашова: слыхал он или нет?

— Лют! Аки тигра! — развязно и приниженно зашептал он, кивая по направлению кабинета. — Но ничего! — Световидов быстро и нервно перекрестился два раза. — Ничего. Слава тебе, господи, слава тебе, господи!

— Бон-да-рен-ко! — крикнул из-за стены полковой командир, и звук его огромного голоса сразу наполнил все закоулки дома и, казалось, заколебал тонкие перегородки передней. Он никогда не употреблял в дело звонка, полагаясь на свое необыкновенное горло. — Бондаренко! Кто там есть еще? Проси.

— Аки скимен! — шепнул Световидов с кривой улыбкой. — Прощайте, поручик. Желаю вам легкого пару.

Из дверей выюркнул денщик — типичный командирский денщик, с благообразно-наглым лицом, с масленым пробором сбоку головы, в белых нитяных перчатках. Он сказал почтительным тоном, но в то же время дерзко, даже чуть-чуть прищурившись, глядя прямо в глаза подпоручику:

— Их высокоблагородие просят ваше благородие.

Он отворил дверь в кабинет, стоя боком, и сам попятился назад, давая дорогу. Ромашов вошел.

Полковник Шульгович сидел за столом, в левом углу от входа. Он был в серой тужурке, из-под которой виднелось великолепное блестящее белье. Мясистые красные руки лежали на ручках деревянного кресла. Огромное старческое лицо с седой короткой щеткой волос на голове и с седой бородой клином было сурово и холодно. Бесцветные светлые глаза глядели враждебно. На поклон подпоручика он коротко кивнул головой. Ромашов вдруг заметил у него в ухе серебряную серьгу в виде полумесяца с крестом и подумал: «А ведь я этой серьги раньше не видал».

— Нехорошо-с, — начал командир рычащим басом, раздавшимся точно из глубины его живота, и сделал длинную паузу. — Стыдно-с! — продолжал он, повышая голос. — Служите без году неделю, а начинаете хвостом крутить. Имею многие основания быть вами недовольным. Помилуйте, что же это такое? Командир полка делает ему замечание, а он, несчастный прапорщик, фендрик, позволяет себе возражать какую-то ерундистику. Безобразие! — вдруг закричал полковник так оглушительно, что Ромашов вздрогнул. — Немысленно! Разврат!

Ромашов угрюмо смотрел вбок, и ему казалось, что никакая сила в мире не может заставить его перевести глаза и поглядеть в лицо полковнику. «Где мое Я! — вдруг насмешливо пронеслось у него в голове. — Вот ты должен стоять навытяжку и молчать».

— Какими путями до меня дошло, я уж этого не буду вам передавать, но мне известно доподлинно, что вы пьете. Это омерзительно. Мальчишка, желторотый птенец, только что вышедший из школы, и напивается в собрании, как последний сапожный подмастерье. Я, милый мой, все знаю; от меня ничто не укроется. Мне известно многое, о чем вы даже не подозреваете. Что же, если хотите катиться вниз по наклонной плоскости — воля ваша. Но говорю вам в последний раз: вникните в мои слова. Так всегда бывает, мой друг: начинают рюмочкой, потом другой, а потом, глядь, и кончают жизнь под забором. Внедрите себе это в голову-с. А кроме того, знайте: мы терпеливы, но ведь и ангельское терпение может лопнуть… Смотрите, не доводите нас до крайности. Вы один, а общество офицеров — это целая семья. Значит, всегда можно и того… за хвост и из компании вон.

«Я стою, я молчу, — с тоской думал Ромашов, глядя неотступно на серьгу в ухе полковника, — а мне нужно было бы сказать, что я и сам не дорожу этой семьей и хоть сейчас готов вырваться из нее, уйти в запас. Сказать? Посмею ли я?»

Сердце у Ромашова опять дрогнуло и заколотилось, он даже сделал какое-то бессильное движение губами и проглотил слюну, но по-прежнему остался неподвижным.

— Да и вообще ваше поведение… — продолжал жестоким тоном Шульгович. — Вот вы в прошлом году, не успев прослужить и года, просились, например, в отпуск. Говорили что-то такое о болезни вашей матушки, показывали там письмо какое-то от нее. Что ж, я не смею, понимаете ли — не *смею* не верить своему офицеру. Раз вы говорите — матушка, пусть будет матушка. Что ж, всяко бывает. Но знаете — все это как-то одно к одному, и, понимаете…

Ромашов давно уже чувствовал, как у него начало, сначала едва заметно, а потом все сильнее и сильнее, дрожать колено правой ноги. Наконец это непроизвольное нервное движение стало так заметно, что от него задрожало все тело. Это было очень неловко и очень неприятно, и Ромашов со стыдом думал, что Шульгович может принять эту дрожь за проявление страха перед ним. Но когда полковник заговорил о его матери, кровь вдруг горячим, охмеляющим потоком кинулась в голову Ромашову, и дрожь мгновенно прекратилась. В первый раз он поднял глаза кверху и в упор посмотрел прямо в переносицу Шульговичу с ненавистью, с твердым и — это он сам чувствовал у себя на лице — с дерзким выражением, которое сразу как будто уничтожило огромную лестницу, разделяющую маленького подчиненного от грозного начальника. Вся комната вдруг потемнела, точно в ней задернулись занавески. Густой голос командира упал в какую-то беззвучную глубину. Наступил промежуток чудовищной темноты и тишины — без мыслей, без воли, без всяких внешних впечатлений, почти без сознания, кроме одного страшного убеждения, что сейчас, вот сию минуту, произойдет что-то нелепое, непоправимое, ужасное. Странный, точно чужой голос шепнул вдруг извне в ухо Ромашову: «Сейчас я его ударю», — и Ромашов медленно перевел глаза на мясистую, большую старческую щеку и на серебряную серьгу в ухе, с крестом и полумесяцем.

Затем, как во сне, увидел он, еще не понимая этого, что в глазах Шульговича попеременно отразились удивление, страх, тревога, жалость… Безумная, неизбежная волна, захватившая так грозно и так стихийно душу Ромашова, вдруг упала, растаяла, отхлынула далеко. Ромашов, точно просыпаясь, глубоко и сильно вздохнул. Все стало сразу простым и обыденным в его глазах. Шульгович суетливо показывал ему на стул и говорил с неожиданной грубоватой лаской:

— Фу, черт… какой же вы обидчивый… Да садитесь же, черт вас задери! Ну да… все вы вот так. Глядите на меня, как на зверя. Кричит, мол, старый хрен без толку, без смысла, черт бы его драл. А я, — густой голос заколыхался теплыми, взволнованными нотами, — а я, ей-богу, мой милый, люблю вас всех, как своих детей. Что же, вы думаете, не страдаю я за вас? Не болею? Эх, господа, господа, не понимаете вы меня. Ну, ладно, ну, погорячился я, перехватил через край — разве же можно на старика сердиться? Э-эх, молодежь. Ну, мир — кончено. Руку. И пойдем обедать.

Ромашов молча поклонился и пожал протянутую ему руку, большую, пухлую и холодную руку. Чувство обиды у него прошло, но ему не было легче. После сегодняшних утренних важных и гордых мыслей он чувствовал себя теперь маленьким, жалким, бледным школьником, каким-то нелюбимым, робким и заброшенным мальчуганом, и этот переход был постыден. И потому-то, идя в столовую вслед за полковником, он подумал про себя, по своей привычке, в третьем лице: «Мрачное раздумье бороздило его чело».

Шульгович был бездетен. К столу вышла его жена, полная, крупная, важная и молчаливая дама, без шеи, со многими подбородками. Несмотря на пенсне и на высокомерный взгляд, лицо у нее было простоватое и производило такое впечатление, как будто его наспех, боком, выпекли из теста, воткнув изюминки вместо глаз. Вслед за ней, часто шаркая ногами, приплелась древняя мамаша полковника, маленькая, глухая, но еще бодрая, ядовитая и властная старушонка. Пристально и бесцеремонно разглядывая Ромашова снизу вверх, через верх очков, она протянула ему и ткнула прямо в губы свою крошечную, темную, всю сморщенную руку, похожую на кусочек мощей. Затем обратилась к полковнику и спросила таким тоном, как будто бы, кроме их двоих, в столовой никого не было:

— Это кто же такой? Не помню что-то.

Шульгович сложил ладони рук в трубу около рта и закричал старушке в самое ухо:

— Подпоручик Ромашов, мамаша. Прекрасный офицер… фронтовик и молодчинище… из кадетского корпуса… Ах, да! — спохватился он вдруг. — Ведь вы, подпоручик, кажется, наш, пензенский?

— Точно так, господин полковник, пензенский.

— Ну да, ну да… Я теперь вспомнил. Ведь мы же земляки с вами. Наровчатского уезда, кажется?

— Точно так. Наровчатского.

— Ну да… Как же это я забыл? Наровчат, одни колышки торчат. А мы — инсарские. Мамаша! — опять затрубил он матери на ухо, — подпоручик Ромашов — наш, пензенский!.. Из Наровчата!.. Земляк!..

— А-а! — Старушка многозначительно повела бровями. — Так, так, так… То-то, я думаю… Значит, вы, выходит, сынок Сергея Петровича Шишкина?

— Мамаша! Ошиблись! Подпоручика фамилия — Ромашов, а совсем не Шишкин!..

— Вот, вот, вот… Я и говорю… Сергей-то Петровича я не знала… Понаслышке только. А вот Петра Петровича — того даже очень часто видела. Именья, почитай, рядом были. Очень, оч-чень приятно, молодой человек… Похвально с вашей стороны.

— Ну, пошла теперь скрипеть, старая скворечница, — сказал полковник вполголоса, с грубым добродушием. — Садитесь, подпоручик… Поручик Федоровский! — крикнул он в дверь. — Кончайте там и идите пить водку!..

В столовую быстро вошел адъютант, который, по заведенному во многих полках обычаю, обедал всегда у командира. Мягко и развязно позвякивая шпорами, он подошел к отдельному майоликовому столику с закуской, налил себе водки и не торопясь выпил и закусил. Ромашов почувствовал к нему зависть и какое-то смешное, мелкое уважение.

— А вы водки? — спросил Шульгович. — Ведь пьете?

— Нет. Благодарю покорно. Мне что-то не хочется, — ответил Ромашов сиплым голосом и прокашлялся.

— И-и пре-екрасно. Самое лучшее. Желаю и впредь так же.

Обед был сытный в вкусный. Видно было, что бездетные полковник и полковница прилепились к невинной страстишке — хорошо поесть. Подавали душистый суп из молодых кореньев и зелени, жареного леща с кашей, прекрасно откормленную домашнюю утку и спаржу. На столе стояли три бутылки — с белым и красным вином и с мадерой, — правда, уже начатые и заткнутые серебряными фигурными пробками, но дорогие, хороших иностранных марок. Полковник — точно недавний гнев прекрасно повлиял на его аппетит — ел с особым вкусом в так красиво, что на него приятно было смотреть. Он все время мило и грубо шутил. Когда подали спаржу, он, глубже засовывая за воротник тужурки ослепительно белую жесткую салфетку, сказал весело:

— Если бы я был царь, всегда бы ел спаржу!

Но раньше, за рыбой, он не утерпел и закричал на Ромашова начальническим тоном:

— Подпоручик! Извольте отложить ножик в сторону. Рыбу и котлеты едят исключительно вилкой. Нехорошо-с! Офицер должен уметь есть. Каждый офицер может быть приглашен к высочайшему столу. Помните это.

Ромашов сидел за обедом неловкий, стесненный, не зная, куда девать руки, большею частью держа их под столом и заплетая в косички бахромку скатерти. Он давно уже отвык от хорошей семейной обстановки, от приличной и комфортабельной мебели, от порядка за столом. И все время терзала его одна и та же мысль: «Ведь это же противно, это такая слабость и трусость с моей стороны, что я не мог, не посмел отказаться от этого унизительного обеда. Ну вот я сейчас встану, сделаю общий поклон и уйду. Пусть думают что хотят. Ведь не съест же он меня? Не отнимет моей души, мыслей, сознания? Уйду ли?» И опять, с робко замирающим сердцем, бледнея от внутреннего волнения, досадуя на самого себя, он чувствовал, что не в, состоянии это сделать.

Наступил уже вечер, когда подали кофе. Красные, косые лучи солнца ворвались в окна и заиграли яркими медными пятнами на темных обоях, на скатерти, на хрустале, на лицах обедающих. Все притихли в каком-то грустном обаянии этого вечернего часа.

— Когда я был еще прапорщиком, — заговорил вдруг Шульгович, — у нас был командир бригады, генерал Фофанов. Такой милый старикашка, боевой офицер, но чуть ли не из кантонистов. Помню, он, бывало, подойдет на смотру к барабанщику, — ужасно любил барабан, — подойдет и скажет: «А ну-ка, братец, шыграй мне что-нибудь меланхоличешкое». Да. Так этот генерал, когда у него собирались гости, всегда уходил спать аккуратно в одиннадцать. Бывало, обратится к гостям и скажет: «Ну, гошпода, ешьте, пейте, вешелитесь, а я иду в объятия Нептуна». Ему говорят: «Морфея, ваше превосходительство?» — «Э, вше равно: иж одной минералогии…» Так я теперь, господа, — Шульгович встал и положил на спинку стула салфетку, — тоже иду в объятия Нептуна. Вы свободны, господа офицеры.

Офицеры встали и вытянулись.

«Ироническая горькая улыбка показалась на его тонких губах», — подумал Ромашов, но только подумал, потому что лицо у него в эту минуту было жалкое, бледное и некрасиво-почтительное.

Опять шел Ромашов домой, чувствуя себя одиноким, тоскующим, потерявшимся в каком-то чужом, темном и враждебном месте. Опять горела на западе в сизых нагроможденных тяжелых тучах красно-янтарная заря, и опять Ромашову чудился далеко за чертой горизонта, за домами и полями, прекрасный фантастический город с жизнью, полной красоты, изящества и счастья.

На улицах быстро темнело. По шоссе бегали с визгом еврейские ребятишки. Где-то на завалинках, у ворот, у калиток, в садах звенел женский смех, звенел непрерывно и возбужденно, с какой-то горячей, животной, радостной дрожью, как звенит он только ранней весной. И вместе с тихой, задумчивой грустью в душе Ромашова рождались странные, смутные воспоминания и сожаления о никогда не бывшем счастье и о прошлых, еще более прекрасных веснах, а в сердце шевелилось неясное и сладкое предчувствие грядущей любви…

Когда он пришел домой, то застал Гайнана в его темном чулане перед бюстом Пушкина. Великий поэт был весь вымазан маслом, и горевшая перед ним свеча бросала глянцевитые пятна на нос, на толстые губы и на жилистую шею. Сам же Гайнан, сидя по-турецки на трех досках, заменявших ему кровать, качался взад и вперед и бормотал нараспев что-то тягучее и монотонное.

— Гайнан! — окликнул его Ромашов.

Денщик вздрогнул и, вскочив с кровати, вытянулся. На лице его отразились испуг и замешательство.

— Алла? — спросил Ромашов дружелюбно.

Безусый мальчишеский рот черемиса весь растянулся в длинную улыбку, от которой при огне свечи засверкали его великолепные белые зубы.

— Алла, ваша благородия!

— Ну, ну, ну… Сиди себе, сиди. — Ромашов ласково погладил денщика по плечу. — Все равно, Гайнан, у тебя алла, у меня алла. Один, братец, алла у всех человеков.

«Славный Гайнан, — подумал подпоручик, идя в комнату. — А я вот не смею пожать ему руку. Да, не могу, не смею. О, черт! Надо будет с нынешнего дня самому одеваться и раздеваться. Свинство заставлять это делать за себя другого человека».

В этот вечер он не пошел в собрание, а достал из ящика толстую разлинованную тетрадь, исписанную мелким неровным почерком, и писал до глубокой ночи. Это была третья, по счету, сочиняемая Ромашовым повесть, под заглавием: «Последний роковой дебют». Подпоручик сам стыдился своих литературных занятий и никому в мире ни за что не признался бы в них.

18